

БОЛЬШОЙ
РОМАН

МАТИАС
ЭНАР
КОМПАС

Издательство «Иностранка»
МОСКВА

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44
Э 61

Mathias Enard
BOUSSOLE
© Actes Sud, 2015
Illustrations:

p. 277: © Service historique de la Défense, DRT Caen, 40 R 4334
p. 281: Édition du journal "El Jihad", camp de Wünsdorf / Zossen.
Extrait de l'album photo de Otto Stiehl. Photo © bpk /
Museum Europäischer Kulturen, SMB
Les autres illustrations sont issues des archives privées de l'auteur.

Перевод с французского
Ирины Волевич (с. 7–239), Елены Морозовой (с. 240–457)

Оформление обложки Вадима Пожидаева

Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».

ISBN 978-5-389-14192-6

© И. Я. Волевич, перевод, примечания, 2018
© Е. В. Морозова, перевод, примечания, 2018
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2018
Издательство ИНОСТРАНКА®

Die Augen schlies' ich wieder,
Noch schlägt das Herz so warm.
Wann grünt ihr Blätter am Fenster?
Wann halt' ich mein Liebchen im Arm?

Глаза закрыл я снова,
Но жарко бьется кровь.
Цвести ли цветам, что на стеклах?
Обнять ли мне милую вновь?

*Вильгельм Мюллер и Франц Шуберт.
Зимний путь*

Нас двое, курильщиков опиума, и каждый окутан своим облачком дыма — он застит глаза, мешая видеть то, что вокруг; одинокие, никогда не понимающие друг друга, мы курим, наши помертвелые лица истаивают в зеркале, и оно превращает их в застывший образ, коему время дарит иллюзию движения, в ледяной кристалл, скользящий по комочку инея, кристалл, чья замысловатая структура никому не ведома; я и есть эта капелька застывающей воды на оконном стекле моей гостиной, жидкая бусинка, что катится вниз, зная не зная о паре, который ее породил, об атомах, из которых она пока еще состоит, но которые скоро, очень скоро послужат другим молекулам, другим телам, а может быть, облакам, грузно нависающим нынче вечером над Веной; и кто знает, по чьему затылку скользнет вниз эта водяная малость, чью кожу, какой тротуар увлажнит она, в какую реку впадет; да и этот неразличимый лик за стеклом — только одна из миллионов конфигураций, возможных в иллюзии, — будет моим лишь на краткое мгновение... Гляди-ка, вон господин Грубер выгуливает свою собаку, презрев морось; на нем зеленая шляпа и неизменный плащ, он спасается от грязи, брызжущей из-под автомобильных колес, выделявая смешные курбеты на тротуаре, а пес, вообразив, что хозяин с ним играет, прыгает на него и получает здоровенную затрещину в тот момент, когда его измазанная лапа касается плаща господина Грубера, который в конце концов все же вынужден подойти к обочине, чтобы пересечь шоссе; уличные фонари вытягивают его си-

луэт — черную лужицу посреди моря теней от больших деревьев, рассекаемого лучами фар с Порцеллангассе, — но герр Грубер явно не решается нырнуть в темную бездну Альзергрунда, как я не решаюсь отвлечься от созерцания капелек за окном, уличного градусника и трамваев, с ритмичным позвякиванием идущих в конец улицы, к станции метро «Шоттентор».

Существование — это болезненный отблеск, грезы опиофага, поэма Руми в исполнении Шахрама Назери; *ostinato* зарба вызывает легкую дрожь стекла под моими пальцами — так вибрирует кожа барабана; а мне следовало бы продолжить чтение, вместо того чтобы смотреть, как господин Грубер исчезает под дождем, или вслушиваться в затейливые мелизмы иранского певца, чей мощный голос с его дивным тембром мог бы пристыдить многих наших теноров. Надо бы остановить диск, мешающий мне сосредоточиться; тщетно я уже в десятый раз перечитываю эту ксерокопию, не понимая ее загадочного смысла, — двадцать страниц, двадцать ужасных, леденящих душу страниц, они прибыли ко мне именно сегодня, в тот самый день, когда соблезнувший врач, может быть, уже назвал по имени мой недуг, объявил мое тело официально больным, почти довольный тем, что выдал мне диагноз — смертельный поцелуй, — основанный на симптомах, диагноз, который он затем подтвердит, назначив лечение, с намерением следить за эволюцией — именно так он и выразился, — за эволюцией болезни, вот до чего мы дожили; остается только смотреть, как эта капелька *эволюционирует* в сторону исчезновения, перед тем как снова возродиться в Вечности.

В мире нет ничего случайного, все взаимосвязано, сказала бы Сара, — вот потому-то я и получил по почте, именно сегодня, эту статью, старомодную ксерокопию, бумажные листы, скрепленные скобкой, вместо текста в PDF с пожеланием «благополучной доставки», приложенного к мейлу, который мог бы сообщить о ней какие-то новости, объяснить, где она находится, и что такое этот Саравак, откуда

она отправила пакет, — если верить моему атласу, это некое государство в Малайзии, расположенное к северо-западу от острова Борнео, в двух шагах от Брунея и его сказочно богатого султана, а также в двух шагах от гамеланов Дебюсси и Бриттена, как мне кажется, — однако содержание статьи совсем иное: никакой музыки, за исключением, может быть, длинного похоронного песнопения; двадцать плотных листов, двадцать страниц текста, опубликованного в сентябрьском номере «Representation», прекрасного журнала, выходящего в Калифорнийском университете, для которого она и прежде часто писала. На первой странице статьи — посвящение, без всяких комментариев: «*Для тебя, мой дорогой Франц, крепко целую, Сара*»; пакет был отправлен 17 ноября, иными словами, две недели тому назад — почта по-прежнему идет из Малайзии в Австрию целых четырнадцать дней, — а может, Сара просто сэкономила на марках, и вообще, могла бы приложить к статье хотя бы открытку; не понимаю, что это означает, я обследовал буквально все, что осталось от нее в моей квартире, — ее статьи, две книги, несколько фотографий и даже второй экземпляр ее докторской диссертации — два толстенных тома в красных виниловых переплетах под кожу, весом три кило каждый.

«В жизни есть раны, которые, подобно проказе, разъедают душу в одиночестве», — пишет иранец Садег Хедаят в начале своего романа «Слепая сова»: автор, худенький человек в круглых очках, знал это лучше, чем кто-либо другой. Одна из таких душевных ран и вынудила его открыть газ в своей квартире на улице Шампюанне в Париже, однажды вечером, когда одиночество стало невыносимым, апрельским вечером, очень далеко от Ирана, очень далеко от всего на свете, а рядом с ним были только несколько рубаи Омара Хайяма, коньяк в бутылке темного стекла да шарик опиума, а может, и не было ничего этого, совсем ничего, кроме текстов, которые он еще хранил в себе и унес вместе с собой в великую пустоту газа.

Неизвестно, оставил ли он предсмертное письмо или еще какой-нибудь знак, кроме романа «Слепая сова», давно уже законченного; через два года после его смерти этот роман вызовет го-

рячее восхищение французских интеллектуалов, которые до этого никогда не читали иранской литературы: издатель Жозе Корти выпустит в свет «Слепую сову» почти сразу же после «Побережья Сирта»; Жюльен Грак, который удостоится в 1951 году громкого успеха как раз тогда, когда газ на улице Шампюанне делал свое черное дело, скажет, что «Побережье» — роман «всех благородных пороков», тех самых, которым удалось прикончить Хедаята, одурманив его вином и газом. Зато Андре Бретон отнесется благожелательно к обоим писателям и их книгам — увы, слишком поздно, чтобы спасти Хедаята от душевных ран, если его вообще можно было спасти, предположив, что зло не было (а оно наверняка было) неизлечимым.

Худенький человечек в круглых очках с толстыми линзами был в изгнании как здесь, так и в Иране; он держался спокойно и скромно, говорил тихо. Ирония и злая печаль сделали его изгоем общества, чему способствовали также его симпатия к сумасшедшим и пьяницам и восхищение перед некоторыми поэтами и их творчеством; возможно, его порицали еще и за то, что он баловался опиумом и кокаином, насмехаясь при этом над теми, кто был к ним пристрастен; а возможно, и за то, что пил в одиночестве или шокировал окружающих заявлениями, что больше ничего не ждет от Бога даже в те вечера, когда гнетущее одиночество подсказывает ему повернуть газовый кран; не исключено, что он чувствовал себя ничтожеством или, напротив, ясно понимал все значение своего творчества, но не верил в успех, — словом, можно предположить любую причину, но все они раздражали окружающих.

Как бы то ни было, но на улице Шампюанне нет никакой мемориальной доски, напоминающей о здешнем пребывании или об уходе Хедаята; да и в Иране его не удостоили ни одним памятником, невзирая на тяжкую неоспоримость истории, сделавшей этого писателя неустрашимым, и столь же тяжкую неоспоримость его гибели, все еще довлеющей над его соотечественниками. Сегодня творчество Хедаята живет в Тегеране так же, как он умер, — в нищете и безвестности, на прилавках блошинных рынков или в кастрированных переизданиях, откуда удалены все намеки, грозящие привлечь внимание читателя к наркотикам или самоубийству, дабы уберечь иранскую молодежь, которая и без того заражена этими болезнями — отчаянием, тягой к самоубийству, наркотической зависимостью, — а потому жадно набрасывается на книги Хедаята, если их удастся разыскать; вот таким — про-

славленным и плохо понятым — этот писатель воссоединяется со своими великими собратьями, что окружают его на Перл-Лашез, в двух шагах от Пруста, где он покоится, оставаясь столь же скромным и замкнутым в вечности, каким был при жизни, без пышных венков, почти без посетителей, с того апрельского дня 1951 года, когда он выбрал смерть от газа и улицу Шампюанне, чтобы положить конец всему на этом свете и уйти на тот, разъеденным душевной проказой, неизлечимой и всепобеждающей. «Никто не принимает решения покончить с собой; самоубийство просто живет в некоторых людях, является частью их натуры». Хедаят пишет эти строки в конце 1920-х годов. Он пишет их еще до того, как прочесть и перевести Кафку, перед тем, как представить читателям Хайяма. Его творчество открывается с конца. В первом же опубликованном им в 1930 году сборнике — «Зенде бе Гур» («Жизнью погребенный») — речь идет о самоубийстве, о саморазрушении; мы допускаем, что там автор точно описывает мысли человека, который убьет себя газом двадцать лет спустя, мирно заснув навеки после того, как уничтожил все свои документы и записи, в крошечной кухоньке, напоенной нестерпимым ароматом пришедшей весны. Он сжег все свои рукописи, быть может, потому, что оказался мужественнее Кафки, или потому, что у него рядом не случилось Макса Брода, или потому, что никому не доверял, или просто решил, что настала пора уйти. И если Кафка ушел, захлебываясь кашлем и до последней минуты внося правку в тексты, которые хотел сжечь, то Хедаят умирал в медленной агонии тяжелого сна, ибо его смерть уже была написана двадцатью годами раньше, а жизнь отмечена ранами и язвами той самой проказы, что точила его в одиночестве, проказы, которая, как мы предполагаем, связана с Ираном и Востоком, с Европой и Западом, так же как Кафка, живший в Праге, был одновременно немцем, евреем и чехом, не являясь, по сути дела, никем из них, будучи обреченным больше, чем все они, или же более свободным, чем все они. Хедаят страдал одной из тех душевных болезней, что лишают человека равновесия, необходимого в нашем мире, и эта трещина раскрывалась все шире и шире, пока не превратилась в пропасть; ее даже нельзя назвать болезнью, она — как опиум, как алкоголь, как все, что раздваивает человека, — уже не болезнь, а решение, твердая воля расколоть надвое свою личность, окончательно, до самой смерти.

И тот факт, что мы начинаем данное исследование с Хедаята и его «Слепой совы», означает наше намерение изучить этот рас-

кол, спуститься в эту адскую пропасть, приобщиться к дурману тех женщин и мужчин, которые безнадежно погрязли в своем раздвоении; мы возьмем за руку худенького человечка и пойдем за ним, чтобы увидеть язвы, разъедающие людские души, — наркотики, отрешение — и исследовать то, что называется барзах, — промежуточное состояние между двумя мирами, которое поглощает людей искусства и странников».

Вот уж поистине неожиданный пролог; эти первые строки даже сейчас, пятнадцать лет спустя, все так же приводят в изумление, но час, наверное, уже поздний, и у меня, сидящего над этой старой рукописью, слипаются глаза, несмотря на зарб и голос Назери. В ходе защиты Сара приходила в ярость от упреков в «романтическом» тоне этой вступительной части и в «абсолютно неоправданной» параллели с творчеством Грака и Кафки. Однако Морган, ее научный руководитель, все же предпринял попытку — впрочем, довольно наивную — вступить за свою подопечную, сказав, что «упоминать о Кафке всегда не вредно», каковые слова вызвали досадливый вздох членов диссертационного совета, состоявшего из педантичных востоковедов и прочих литературных шишек, погруженных в полудрему, из коей их могла вырвать только ненависть друг к другу: они мгновенно забыли о необычном предисловии Сары и затеяли между собой сварливый спор о проблемах методологии; в частности, они не понимали, каким боком «прогулка» (один из этих мудрецов, старый хрыч, выплевывал это слово, как ругательство) может иметь отношение к науке, даже если исследователь руководствуется творчеством Садега Хедаята. Я тогда оказался в Париже проездом и был страшно доволен, что мне представился случай впервые присутствовать на защите диссертации — а главное, ее диссертации! — «в самой Сорбонне», однако поначалу испытал насмешливое удивление при виде ветхих коридоров, зала и членов диссертационного совета, засунутого в какой-то самый дальний конец лабиринта познания, где пятеро ученых мужей, все как один, выказывали полное отсутствие интереса к обсуж-

дению диссертации, прилагая нечеловеческие усилия (как и я, сидевший в амфитеатре) к тому, чтобы не заснуть, это действо повергло меня в горькую меланхолию, и в тот момент, когда мы покидали помещение (убогую аудиторию с обшарпанными пюпитрами, испещренными отнюдь не записями лекций, а хулиганскими граффити, с нашлепками жевательной резинки), оставив там спорившее старичье, я почувствовал неодолимое желание взять ноги в руки, сбежать по бульвару Сен-Мишель к реке и долго бродить по набережным, чтобы не видеть Сару и чтобы она не догадалась о моих впечатлениях от этой знаменательной защиты, которая, наверно, была так важна для нее. Нас, слушателей, было человек тридцать, можно сказать, целая толпа для узенького коридорчика, где образовалась жуткая давка; Сара вышла из аудитории одновременно со всеми и стояла, разговаривая с дамой, старше и элегантнее остальных (я знал, что это ее мать), и с молодым человеком, удивительно похожим на нее, — это был ее брат. Пробриться к выходу, не столкнувшись с ними, было невозможно, поэтому я просто отвернулся и стал разглядывать портреты востоковедов, старинные пожелтевшие гравюры и мемориальные доски, украшавшие стены, — напоминания о блестящей и давно минувшей эпохе. Сара болтала с родными, она выглядела усталой, но не удрученной; вероятно, в пылу научного сражения, делая записи для ответных реплик, она чувствовала совсем не то, что мы, слушатели. Она все же заметила меня и махнула рукой, подзывая к себе. Я пришел в Сорбонну, чтобы поддержать ее, но еще и для того, чтобы подготовиться, пусть даже умозрительно, к своей собственной защите, однако все увиденное и услышанное отнюдь не ободрило меня. Но я ошибся: после короткого обсуждения нас снова запустили в аудиторию и сообщили, что диссертация заслужила самую высокую оценку; тот самый председатель совета, который объявил себя врагом «прогулки», тепло поздравил Сару с прекрасной работой, и даже сегодня, перечитывая ее вступительную часть, я должен при-

знать, что было действительно нечто сильное и новаторское на этих четырехстах страницах, с образами и представлениями о Востоке, с умолчаниями, утопиями и идеологическими фантазмами, в которых безнадежно канули многие из тех, кто хотел к ним приобщиться, — сонмы художников, поэтов и путешественников, пытавшихся вникнуть в их смысл, постепенно приходили к саморазрушению; иллюзия, по словам Хедаята, разъедала душу, обреченную на одиночество, и то, что издавна считалось безумием, меланхолией, депрессией, нередко было результатом обращения, через потерю себя в творчестве, к инакости, и даже если сегодня выводы Сары кажутся мне слишком скороспелыми и, честно говоря, слишком романтическими, они все-таки уже тогда свидетельствовали о безошибочной интуиции, на которой она построила всю свою дальнейшую работу.

Выслушав вердикт совета, я подошел и с жаром поздравил ее; она сердечно обняла меня и спросила: «Что ты тут делаешь?» Я ответил, что мне случайно (святая ложь!) посчастливилось оказаться в Париже как раз сегодня; она пригласила меня на традиционный бокал шампанского в компании с ее родными; я согласился, и мы собрались на втором этаже кафе того же квартала, где, видимо, часто отмечались такие события. Внезапно Сара как-то сникла; мне показалось, что она чем-то угнетена; я заметил, что серый костюм почти болтается на ней, словно академия обгрызла ее тело — на нем лежал след тяжкого труда истекших недель и месяцев; четыре предыдущих года были отданы этому дню, направлены только на это событие, и теперь, когда шампанское текло рекой, ее лицо озаряла измученная улыбка роженицы, а глаза были обведены синими кругами, — я догадывался, что она провела ночь, читая и перечитывая свою диссертацию, слишком сильным было возбуждение, чтобы заснуть. Жильбер де Морган, ее научный руководитель, разумеется, тоже был здесь; мне уже доводилось встречаться с ним в Дамаске. Он обволакивал свою подопечную отеческим взглядом, но явно питал к ней более сильное чув-

ство, которое, под воздействием шампанского, начинало слегка походить на инцест; после третьего бокала у него заблестели глаза и побагровели щеки; он стоял один, облокотившись на высокий столик, и я заметил, как он рассматривает Сару — снизу вверх, от лодыжек до талии, и обратно; потом он меланхолично рыгнул и залпом выпил четвертый бокал. Заметив, что я за ним наблюдаю, он сердито вытаращил глаза, потом наконец узнал меня и с хохотком спросил: «Мы ведь уже с вами встречались, верно?» Я освежил его память, сказав: «Да, я Франц Риттер, мы виделись с вами в Дамаске, я был с Сарой». — «Ах да, верно! Вы тот самый музыкант!», но я уже настолько привык к подобным пренебрежительным репликам, что ограничился глуповатой улыбкой. Мне пока не удалось перемолвиться и парой слов с виновницей торжества — ее плотно окружили друзья и родные, — зато я поневоле оказался в плену у этого великого востоковеда, от которого, вне лекций и ученых советов, все бегали как черт от лаdana. Он засыпал меня вопросами о моей собственной научной карьере, на которые я не знал, что ответить, ибо предпочитал не задавать их самому себе; несмотря на выпитое, он все еще был в приличной форме, этот *весельчак*, как таких называют французы, чтобы не сказать пошляк или мозгляк; мог ли я представить себе, что через несколько месяцев снова встречу с ним в Тегеране, в обстоятельствах и в состоянии, разительно отличающихся от сегодняшних, но опять-таки в обществе Сары, которая в настоящий момент оживленно беседовала с Надимом, — он только что появился, и она, вероятно, описывала ему ход и результаты защиты (не знаю, почему он на ней не присутствовал); он тоже выглядел очень элегантно в красивой белой рубашке с глухим воротом, оттенявшим его смуглое лицо, обрамленное короткой черной бородой; Сара держала его за руки, словно они собирались танцевать. Я извинился перед профессором и подошел к ним; Надим с ходу наградил меня дружеским шлепком по спине, на миг вернувшем мою память к Дамаску, к Алеппо, к лютне Надима в ночной

темноте, чьи звуки опьяняли далекие, такие далекие звезды стального неба Сирии, раздираемого не кометами, а ракетами, снарядами, воплями и войной; можно ли было вообразить в Париже 1999 года, под звон бокалов с шампанским, что Сирию разорит, растопчет лютая ненависть, что сук Алеппо сгорит дотла, что обрушится минарет мечети Омейядов, а многие наши друзья погибнут или будут вынуждены отправиться в изгнание; даже сегодня немыслимо представить чудовищный размах этих злодеяний и боль утрат, сидя в уютной, спокойной венской квартире.

Ну вот, диск уже кончился. Какая все-таки сила в этой песне Назери! И какая магическая, даже мистическая простота в архитектонике ударных инструментов, поддерживающей медленное биение пульса вокала, в отдаленном ритме чаемого экстаза; этот гипнотический зикр захватывает ваш слух и еще много часов живет в вас. Сегодня Надим является всемирно известным исполнителем лютневой музыки; их брак наделал много шума в маленькой иностранной диаспоре Дамаска, — он выглядел настолько скоропалительным, настолько непредсказуемым, что многие, в частности работники посольства Франции в Сирии, сочли его подозрительным; он стал одним из бесчисленных сюрпризов, на которые Сара была большой мастерицей, и последний из них — вот эта жуткая статья о Сараваке; вскоре после прихода Надима я начал прощаться, Сара долго благодарила меня за то, что я пришел, спросила, как долго я пробуду в Париже и сможем ли мы еще увидеться; я ответил, что уже завтра уезжаю в Австрию, затем почтительно раскланялся с профессором, вконец размякшим от шампанского, и ушел.

Выйдя из кафе, я побрел по парижским улицам, снова наслаждаясь неторопливой прогулкой, шурша желтой палой листвой, устилавшей набережные Сены, и раздумывая над истинными причинами, заставившими меня потерять столько времени на защите диссертации и завершившей ее выпивке; я до сих пор вспоминаю Париж, тот ясный осен-

ний свет, что озарял братские объятия мостов, вырывая их из туманной дымки, и свои блуждания, чья цель и смысл прояснятся для меня, может быть, только *a posteriori*¹, притом, конечно, именно в Вене, где г-н Грубер уже возвращается с прогулки вместе со своим мерзким псом: тяжелые шаги на лестнице, собачье тявканье, затем, у меня над головой, беготня и клцанье когтей по паркету. Сам г-н Грубер ничуть не желает соблюдать тишину, хотя громче других обитателей дома жалуется на мои диски; Шуберт, говорит он, ну это еще куда ни шло, но ваши древние оперы, а вдобавок... гм... экзотические мелодии — они не всем по вкусу; надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду. Да, г-н Грубер, я понимаю, что музыка вам мешает, и прошу меня извинить. Тем не менее должен вам сообщить, что проделал в ваше отсутствие всевозможные, самые невообразимые опыты над слухом вашей собаки и обнаружил, что один только Брукнер (правда, на самых высоких тонах, переходящих в совсем уж пронзительные) способен заставить его прекратить царапать когтями паркет и пронзительно лаять, на что, кстати, жалуется весь наш дом; я намерен описать этот феномен в научной статье на тему ветеринарно-музыкальной терапии, которая, без сомнения, заслужит горячие аплодисменты моих товарищей по несчастью; я назову ее «Воздействие медных духовых на собачье настроение: развитие и перспективы».

Ему повезло, этому Груберу, что я устал, иначе охотно оглушил бы его раскатами томбака, этой «экзотической» музыкой, столь чуждой ему и его собаке. Но я и впрямь устал от долгого дня воспоминаний, которые помогли мне отвлечься — к чему закрывать на это глаза?! — от мыслей о болезни; нынче утром, вернувшись из больницы и открыв почтовый ящик, я подумал, что плотный конверт содержит долгожданные результаты медицинского обследования, вернее, копии анализов, которые должны были прислать из лаборатории, и долго не решался его вскрыть, пока почто-

¹ Впоследствии, задним числом (*лат.*).

вый штемпель не вывел меня из заблуждения. Я был уверен, что Сара обретается где-нибудь между Дарджилингом и Калькуттой, а она появилась из зеленых джунглей северной части Борнео, из бывших британских колониальных владений этого пузатого острова. Ужасающее содержание ее статьи, жесткий лаконичный язык, разительно далекий от обычного лиризма, напугал меня; мы не переписывались уже много недель, и вот как раз в этот момент, когда я переживаю самый трудный период своей жизни, она возникла снова, да еще таким странным образом; я целый день читал и перечитывал ее тексты, словно бы общаясь с ней через них, и это избавило меня от мыслей, избавило от самого себя; вообще-то, я собирался начать редактировать доклад одной моей студентки, но уже пора было спать, и я обещал себе, что дождусь завтрашнего утра, дабы ознакомиться с соображениями этой девицы на тему «Восток в венских операх Глюка», а сейчас усталость смыкает мне глаза, я больше не могу читать, я должен лечь в постель.

В последний раз я видел Сару, когда она приехала на три дня в Вену по каким-то своим научным делам. (Я, естественно, предложил ей остановиться у меня, но она отказалась, объяснив, что принимающая организация забронировала для нее номер в роскошном, типично венском отеле, который она ни за что не променяет на мой *продавленный* диван, чем привела меня в крайнее раздражение.) Тогда она была в отличной форме и назначила мне встречу в кафе Первого округа — одном из тех великолепных заведений, коим приток туристов, хозяев этих мест, сообщал столь импонирующий ей декадентский дух. Она сразу же решила, что мы с ней должны прогуляться, несмотря на туман и морось, и это также привело меня в раздражение: я не испытывал никакого желания изображать праздного туриста в холодный дождливый осенний полдень, но Саре, переполненной радостной энергией, все же удалось меня уломать. Ей хотелось сесть в трамвай D и доехать в нем до конечной остановки в Нуссдорфе, а оттуда пройти по Бетховен-

ганг; я возразил, что нам придется шлепать по грязи и лучше остаться в этом квартале; в результате мы прошлись по Грабену до собора, и по пути я рассказал ей две-три забавные историйки о гривуазных песенках Моцарта, которые ее рассмешили.

— Знаешь, Франц, — сказала она в тот момент, когда мы шли вдоль вереницы колясок, выстроившихся по периметру площади Святого Стефана, — есть что-то очень интересное в рассуждениях людей, которые считают Вену воротами Востока.

Теперь уже рассмеялся я.

— Да нет, ты не смейся, я вот собираюсь написать об этом для презентации Вены в «Porta Orientis».

Озябшие лошади выпускали пар из ноздрей и невозмутимо облегались в кожаные мешки, подвешенные у них под хвостами, дабы не осквернять экскрементами благородные венские мостовые.

— Сколько я ни думал над этим, так и не разобрался, — ответил я. — Формулировка Гофмансталя «Вена — ворота Востока» мне кажется слишком идеологизированной, связанной с его стремлением определить место Австрийской империи в Европе. Эта формулировка относится к 1917 году... Конечно, в Вене есть и *чевапчичи*, и *наприкаиш*, но если не считать этого, она скорее город Шуберта, Рихарда Штрауса и Шёнберга, в котором, на мой взгляд, нет ничего особенно восточного. И даже в облике, в изображениях Вены, если не считать полумесяца, мне трудно представить себе что бы то ни было, хоть отдаленно напоминающее Восток.

Избитая мысль. И я презрительно отнесся к этому клише Сары, утратившему всякий смысл:

— Если у ворот города дважды побывали турки, это еще не значит, что он непременно станет «воротами Востока».

— Вопрос не в этом, не в реальности этой идеи; меня интересует другое: почему и каким образом множество путешественников увидели в Вене и Будапеште первые «восточные» города и какой смысл они вкладывали в это сло-

Содержание

КОМПАС. Роман	5
Примечания. <i>И. Волевич, Е. Морозова</i>	459

Энар М.

Э 61 Компас : роман / Матиас Энар ; пер. с фр. И. Волевич, Е. Морозовой. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2019. — 512 с : ил. — (Большой роман).

ISBN 978-5-389-14192-6

Роман Матиаса Энара «Компас» (2015), принесший писателю Гонкуровскую премию, — как ковер-самолет, вольно парящий над Венной и Стамбулом, Парижем и Багдадом, — открывает нам Восток, упоительный, завораживающий, благоуханный, издавна манивший европейских художников, композиторов, поэтов. Весь этот объемный роман-эпопея заключен в рамки одной бессонной ночи, ночи воспоминаний и реальной опасности, ведь главным героям книги меланхоличному Францу и красавице Саре не понаслышке знаком иной Восток: тревожный, обогранный кровью давних войн и взрывами нынешних конфессиональных конфликтов. Этих кабинетных исследователей, рассуждающих о Дебюсси и Бартоке, Низами и Гюго, манят дальние странствия, стрелка их компаса упорно указывает на Восток, но суждено ли им совпасть в одной точке необозримого пространства, или арабская вязь их судеб так и не сольется в единый текст?..

УДК 821.133.1

ББК 84(4Фра)-44

Литературно-художественное издание

МАТИАС ЭНАР
КОМПАС

Ответственный редактор Галина Соловьева
Художественный редактор Вадим Пожидаев
Технический редактор Татьяна Тихомирова
Компьютерная верстка Ирины Варламовой
Корректоры Наталья Хуторная, Светлана Федорова

Подписано в печать 12.11.2018. Формат издания 60 × 90 ¹/₁₆.
Печать офсетная. Тираж 3000 экз. Усл. печ. л. 32. Заказ №

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):



ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака «Издательство Иностранка»
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. № 1
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19
E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге: Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60. E-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве: ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах: www.azbooka.ru, www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей и творческого сотрудничества
размещена по адресу: www.azbooka.ru/new_authors/



Y-BRM-22411-01-R